

ОБ ОСНОВАХ ИНКВИЗИЦИИ — ЧЕКИ

Вальтер Нигг, автор великолепной книги «О еретиках» (Walter Nigg: «Das Buch der Ketzer») выдвинул очень плодотворную тему: «*Заблуждение как путь к истине*» (стр. 126 и сл.). Тема эта, конечно, не новая, она путеводной звездой блестит перед человечеством. Несколько в другом виде ее поставил Гете в «Фаусте»: «Человек заблуждается покуда ищет» («Es irrt der Mensch solang' er strebt»). Это значит, что часто ценой истины оказывается заблуждение, так же как ценой удачи — неудача. Сюда же относится и тема падения на путях достижения святости. Все это многоединство аналогичных тем может быть сведено к знаменитой евангельской притче о *пищенице и плевалах*. Сюда же относится тема о прощении женщины, взятой в прелюбодеянии (Матф. 13, 24—30; Иоан. 8, 3—11). В Ветхом Завете этому соответствует гнев Божий на друзей Иова, которые как будто бы «заступаются» за Господа Бога, в то время как Иов — ропщет на Него. Тема эта, кстати сказать, никогда по-настоящему, на нужной глубине и с нужной степенью честности, не была разработана ни экзегетами, ни богословами. И это в высшей степени зловещий факт.

В сущности говоря, всю эту совокупность жгучих и очень опасных тем можно было бы синтезировать в таком вопросе: *стоило ли Богу творить мир ценой его радикального падения, ценой явления того, что Кант имеет радиальный злом?* В применении к тематике и символике «Моцарта и Сальери» Пушкина это можно транспонировать так: *стоило ли допускать* (или: попускать) такого рода ужасающие злодеяния, как отравление Моцарта, двойное падение и уничтожение (духовное) Сальери, то есть его гибель как художественно-артистической и моральной личности, только для того, чтобы в мире

явились такая высшая художественная ценность, как «Реквием» того же Моцарта? Другими словами, в этой теме, со всею резкостью и в предельно трудном, может быть, неразрешимом смысле ставится проблема *Провидения*. Мы, кстати сказать, знаем, что у Сенеки (в «De providentia») она не удалась, несмотря на свойственный этому мыслителю блеск, а в христианстве она оказалась безмерно отягченной еще более трудной темой о *свободе*. Что это так, видно из церковно-литургической формулы: «грядый Господь на *вольную* страсть нашего ради спасения», — не говоря о том, что *творение мира и его спасение* — оба акта, представляющие, по существу, акт двуединый в их проблематике — отягчены не только проблемой *свободы и ничто*, но и проблемой *творческой личности*. Здесь для толкователей поистине «*крест*» (стих *interpretum*). Философ-метафизик может себя утешать тем, что это — *Крест Господень*, и что пав со Христом на путях непосильной борьбы с этими философско-метафизическими трудностями, мы надеемся восстать с Ним из мертвых.

К тому же Господь говорит о многом таком, чего мы ныне не можем вместить. Весьма возможно, что расшифровка этих мучительных проблем относится сюда же, хотя есть пессимисты, вроде поэта Батюшкова, полагающие, что и сама даже смерть не даст путей к разрешению этих вопросов, к которым нельзя не прийти, а прийдя, нельзя не пасть в мучительнейшей борьбе над их разрешением.

Совершенно исключительное положение христианства в ряду мировых религий состоит в том, что в нем проблема невозможной вообще теодицеи разрубается в качестве «гордисва узла» мечом креста, то есть свободным принятием Творцом мира его судьбы. Это, между прочим, значит, что если *еретиков* — действительных или мнимых — пытают, бесчестят и мучат в инквизиционных застенках, а потом сжигают или как-нибудь иначе умерщвляют, то *Бог и Сын Божий тоже оказываются на положении еретиков и подвержены одинаковой с ними участии*.

Вступая в труднейшую область свободной всесозидающей и крестоносной Любви Божественной надо все время держать в своем сердце и в своем сознании, что она не ведает исключений, не ведает категории «*насыщиков*» и что сий так же дорог Моцарт, как и Сальери, ортодокс, так же как и гетеродокс, то есть сретик.

Только этим, быть может, объясняется самое загадочное место в финале «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского, именно финальный поцелуй Христа в бескровные уста жуткого старика-инквизитора, — а значит, и в уста того, кто за ним, и о котором *Великий инквизитор* сделал свое самое страшное и вполне обязывающее признание: «Мы не с Тобой, а с ним»...

Нам легко было бы принять заступничество Христа за сжигаемых Великим инквизитором еретиков, как легко и даже умилительно принять заступнический поцелуй Христа в уста отравленному Моцарту... Еще бы! Ведь Моцарт — свой! Он праведное и незлобивое дитя Божие и вдобавок богоподобный творец, созидающий «Реквием», то есть заупокойную мессу, в которой прославляется крестная и евхаристическая Жертва. Но нам очень трудно, собственно говоря, невозможно — принять такой же поцелуй в уста отравителя, который даже, как известно, не дал Моцарту и дописать его гениальное творение, что сделал любимый ученик Моцарта Зюссмейер; он и инструментовал великий шедевр гения-мученика. Нам поцелуй Христа в губы монструозного палача не только невозможно ни понять, ни поднять, но он предстоит пред нами как великий *абсурд, невыносимый скандал и внутреннее противоречие* в самом существе, в самом сердце любви Божественной.

Этого противоречия не вынес даже такой проникновенный знаток Достоевского, пожалуй, самый глубокий из его интерпретаторов, как Романо Гуардини. Он «принимает вызов» Достоевского и в своем роде «бесстрашно» утверждает, что «такого» Христа надо сжечь... Другими словами, в нем просыпается «истинный» католик с чисто «спортивной» охотой за сретиками. Великий инквизитор и называет Христа «злейшим из сретиков», более других заслужившим костер. Такова схоластическая диалектика, согласно которой, по острому замечанию Н. А. Бердяева, Ангел Сильзиус, в качестве богослова-иезуита, должен сжечь самого себя — как поэта и метафизика.

Любопытно, что Сальери дает сам себе социальный заказ устранить Моцарта, ибо тот, так сказать, залестил слишком высоко и этим отменяет «нужды низкой жизни», то есть тот самый «печной горшок», который так дорог Белинскому и ему подобным до нынешних коммунистов, — отменяет в качестве херувима с херувимскими мелодиями «житейские

попечения» и, конечно, за это должен поплатиться жизнью со стороны тех, которые хотя и любят «херувимские песнопения», но не до самозабвения, не до стремления улететь на небо и там остаться... Да и теперь, когда в Церкви раздается этот удивительный и в своем роде единственный гимн, все, как правило (включая, конечно, и церковнослужителей), если только это не «земные ангелы и небесные люди», что бывает редко, просто не принимают в свое сердце всю онтологическую силу херувимского гимна, в одно ухо его впускают, в другое выпускают, и все остается «в порядке» — в скверном, пошлом, мизерном порядке, в духовном оскудении и со своего места не двигается, чтобы «возлететь во области заочны», говоря словами Пушкина... Великий поэт, хотя и бывал порой «меж детей ничтожных мира» самым ничтожным, но не отклонял «чуткого слуха» от «Божественных глаголов» и на деле показывал, что

Орлам хотя случается и ниже кур спускаться,
Но курам никогда до облак не подняться.

И подлинное, настоящее желание настоящего гения — раз скрывшись за облаками, больше никогда не спускаться... Вот этого «Великого инквизитора», иной раз умеющий читать в сердцах людей, и не может простить Моцарту и его символизирующему орлу... Ибо «Великий инквизитор», каковы бы ни были формально им исповедуемые миросозерцательные тезисы и догматы, — прежде всего и после всего *явление социальное* и во имя социальных интересов объявляет войну Моцарту. Отсюда и его успех: охотников подгребать горячие угли к костру «еретиков» (в чем бы ни состояла их «ересь» — мнимая или подлинная) и тем «спастись», тоже понимая спасение «социально», — великое множество. Этим и объясняется тот общеизвестный и весьма соблазнительный факт, что жертва и палач с подозрительной легкостью меняются местами, и это уже по той причине, что духовное содержание обоих, как правило, удивительно скучно... Да и, кстати сказать, в терминологическом смысле древнее понятие *зависти* сюда относящимся греко-славянским термином, при серьезном подходе к нему, означает *оскудение*. Социально революционизирующая массы «зависть» всегда не только приводит в конец революционного процесса к величайшему и всестороннему оскудению и к поголовной ни-

щете, но еще и к культу скудости и бедности, притом, отнюдь не аскетически подвижническому, но к принципиальной скудости как таковой, *per sc*, к голоду, к хождению в лохмотьях, к подозрительно-неборожелательному отношению не только к приличному галстуку, чистой рубашке, но и к породистому скоту, к приличным чертам лица, к культурной речи, к комильфотному обхождению, к хорошим стихам, к отделанной культурной прозе, к философской и научной проблематике ради нее самой без каких бы то ни было задних мыслей о «практическом использовании»... Но хорошо известно, что наибольшее количество выгод приносят те научные и научно-философские течения, которым задние мысли о практическом использовании не закрыли горизонтов и глубоких точек зрения. Только максимум бескорыстного услаждения через углубление и расширение познания приводит к таким открытиям, которые оказываются практически полезными. И здесь евангельское правило: «Ищите Царства Божия и Правды Его прежде всего, а остальное приложится вам», — оказывается особенно приложимым, именно, практически, с максимальными результатами. В конечном счете, бескорыстная, не ведающая зависимости любовь как самоцель неожиданно открывает великие достижения для ее носителя и оказывается в пределе единственно *всемогущей*.

А между тем, всюду и всех подозревающая в небывальных преступлениях, соблазнах, заговорах социально-политическая точка зрения, больше всего боящаяся бескорыстного познания и творческих достижений, приводит неизбежно к культу шпионажа, подглядывания, подсматривания, к дрожанию за свою шкуру, к подавлению сердечных запросов практическим расчетом и в конечном результате к такой форме зависимости, которая гораздо хуже обычной житейской индивидуальной зависимости, именуя, к социально-революционной зависимости, к «оцеживанию комара и поглощению верблюда», к ложной утонченности, к крючкотворству... Сложилась и упрочилась легенда о надутой важности, о неулыбающейся серьезности мыслителя и человека науки — в виде хорошо известного чеховского героя — «человека в футляре», понимающего только то, что «запрещено циркуляром, исходящим от начальства», и во всяком случае не могущего примириться с тем, относительно чего нет ни прямого дозволения, ни прямого запрещения. По этой причине он не может помириться ни с жизнью, ни с творче-

ством, ни с каким-либо изменением и движением. Он — олицетворенный антиревизионизм, *олицетворенная энтропия*, и его царство есть царство окоченелых, застывших, неподвижных призраков. Он не допускает ни жизни, ни молодости. Таков, между прочим, и губернатор Лембке в «Бесах» Достоевского, который как-то весьма легко уживается с «Бесами», а они с ним. Их борьба — тоже призрачная борьба, ибо и вся революция есть царство призраков и дело несерьезное и шутовское, сколько бы при этом ни было страданий и разрушений... «Я не признаю молодежи», — вырывается у него характерное признание. Но ведь и молодежь из «Бесов» — фиктивная, поддельная молодежь, — настоящая, подлинная жизнь, которая есть всегда нарастающая энергия, умножающееся богатство, переступание «порогов» и «циркуляров», выход за пределы всего того, что «общепринято» и «дозволено», ей глубоко ненавистна...

Другой, тоже упроченный легендой образ педанта-педагога, — это человек *трюизмов*, допускающий разговоры только о том, что всем давно известно, и открытие давным-давно открытых «Америк». «Человек улицы» очень почитает скучных и бездарных людей, которыми подтверждается установленная им легенда о представителях ума и знания, о творчестве же он не имеет ни малейшего представления, или же, в крайнем случае, оно смутно ассоциируется в его черепной коробке с чем-то скандальным и недопустимым, «изменяющимся» и движущимся, чему быть отнюдь не должно. В еще большей степени эта «энтропическая легенда» утвердила у «человека улицы», у «*оно*» (*«das man»* Гайдеггера) — в отношении всего, что связано с религией и верой. Здесь, по мнению «человека улицы», особенно и с полным отсутствием всякой жалости должны быть устраниены, убиты, втоптаны в землю всякие признаки жизни, творчества, изменения, красоты, ума, любви и, прежде всего, какие бы то ни было признаки трех основных ценностей, которыми отрадна и оправдана жизнь: *личности, творчества и свободы*.

Для «человека улицы» Бог есть что-то вроде митрополита Филарета или игуменов Фотия и Нифонта (все трое — гонители прп. Серафима) — сердитый, злой, тупой, обязательно завистливый и обязательно консервативный седой старичишко. Ангелы же вокруг него, то есть силы небесные — «корпус небесных жандармов». Так думают, за исключением немногих единиц, все люди улицы, как носящие

официальный мундир революции и безбожия, так и напялившие на себя обязательный мундир реакции или, во всяком случае, держащие его про запас в нафталине, храня от моли «до лучших времен»... Человеку улицы невдомек, что созданные им легенды о революции и реакции одинаково реационны, безжизненны, бездарны, тупы и скучны, что им воображаемый Бог решительно ничем от диавола не отличается, равно как борода Карла Маркса и придуманного Бога Саваофа — решительно одно и то же.

Так или иначе, но эта энтропическая легенда о порядке и благополучии, или лучше, о благополучии как о нетворческом неподвижном порядке, то есть о царстве сонной одури, скуки, смерти и окоченения, как раз и легла в основание той психологии, которая сделала возможной и неквизицию как универсальное явление социального аперсоналистического порядка, т. е. зла.

И здесь-то в основе, в принципе, «в начале», противоположном евангельскому началу, лежит зависть Сальери, убивающего Моцарта... Убивающего-отравляющего, ибо отравление здесь — наиболее подходящий символ «начинающегося» в порядке лично индивидуальном мирового зла, а потом уже наступает социально-тоталитарное обобщение этого зла в виде Инквизиции, которую надо положительно считать наиболее адекватным символом радикального, первородного зла.

Я отнюдь не собираюсь вносить дурию упрощенность, какие-либо «психологизмы» и «социологизмы» в такой бесконечно трудный для мыслителя, для философа-метафизика и для богослова вопрос, как «начало падения» и первопричина превращения, преложения «Ангела светла» Люцифера, «носителя света» — в князя тьмы, князя века сего.

Я хочу только сказать, что наиболее адекватным, наиболее соответствующим, «корреспондирующем» символом мирового радикального зла, безусловно, надо по сей день считать такой феномен, как Инквизиция, — со всеми ее разветвлениями, преломлениями и вариантами вплоть до террора так называемой «великой» французской революции, начавшейся в 1789 г., и революции русской, начавшейся с 60-х годов прошлого столетия и дошедшей до нашего времени.

В мировой литературе ближе всего к этой теме подошли произведения таких русских писателей, как Пушкин в «Моцарте и Сальери» и Гоголь в «Портрете» и в «Страшной ме-

ти»... Это, несомненно, связано с знаменитыми и страшными словами протопопа Аввакума: «Выпросил себе диавол у Бога светлую Россию да искровянит ю»...

Сюда же относится ряд легенд, синтезированных в «Фаусте» Гете и в «Элоа» Случевского, что, в свою очередь, коренится в тайнах книги Иова... Все это — *символы*, но *символы вполне адекватно онтологические*, подчас становящиеся вещью реальными, так сказать, «*осознательными*»... К числу художественных откровений на эту тему надо отнести также «Макбета» Шекспира, «Каина» Байрона, «Дон-Жуана» Алексея Толстого и ряд вариаций художника Михаила Брубеля на эту же тему падения сатаны...

Как видим, мировое искусство всегда очень искушала мысль изобразить «как все это началось», говоря языком «Элоа» К. К. Случевского... Сюда же относится и начало первой части Девятой симфонии Бетховена и начало «Золота Рейна» Вагнера... Нечеловеческая трудность здесь в том, что как начало, так и середина и вообще продолжение выглядят совершенно одинаково, словно и начала никогда и не было — как будто в подтверждение издевательских слов Шопенгауэра: «глупцы же думают, что в начале должно было что-то случиться и произойти»...

Как у Бетховена, так и у Вагнера начало трагедии совпадает с началом вообще — словно нет и быть не может у твари ни осознания свободы, ни «я», ни памяти о начале, ибо память о начале «отшибло» вместе с началом памяти о падении, — и не только у человека, но и у самого «изобретателя зла» и падения — мы застаем как князя тьмы, так и с ним мучающихся и им мучимых ужс в бесплодных терзаниях беспамятства все на ту же тему — «как это могло произойти» и «почему это произошло»... И не «произошло», и не «почему». С особенной силой это изображено у Гоголя в «Вечере накануне Ивана Купалы». Когда Петрусь все же наконец вспомнил в ассоциационном порядке, увидев харю мерзости старухи-ведьмы из «Медвежьего оврага», то эта память оказалась хуже и мучительнее всякого беспамятства и именно в этот момент «нечистый-то и припрятал Петруся»... Равным образом и в «Моцарте и Сальери» мы застаем Сальери в разгаре его бесплодных терзаний над тем, как он, благородный и справедливый, по существу, никогда не знавший зависти и всегда покорно следовавший за теми, кого он считал выше себя и светочами «в искусстве дивном», мог

вдруг превратиться в презренного завистника, в котором вдруг оскудел его творческий дар или появилось сознание скучности-оскудения этого дара?

Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущю бессильно?

Аналогично этому Вальтер Нигг в главе об Инквизиции своей книги, посвященной ересям (стр. 226—246), которую он красноречиво и жутко озаглавил: «Тяжелая вина христианского мира» («Die schwere Schuld der Christenheit»), бьется над тягостным вопросом — «как это могло случиться» и, вообще, «как и когда это могло начаться»? И прежде всего совершенно справедливо отклоняет всякие покушения минимализовать или облегчить эту вину или снять ее с плеч христианства. Нет, надо быть честным, *вина эта — чудовищная и до сих пор не искупленная вина!*

То же самое следует сказать и о революционной инквизиции с ее тоже неосознанной и никак не искупленной, но, наоборот, — все время умножаемой виной, в отношении которой человечество, и особенно человечество западное, держится с гнилым упорством некоторого «табу», некоторой чудовищной индульгенции: *все преступления заранее прощаются, если только они произведены во имя Молоха революции.*

И мы ставим себе вопрос: подобно тому как Сальери подписал смертный приговор своему потенциальному гению, легализировав свое отравление Моцарта, не подписало ли человечество себе смертного приговора, легализировав революционный грех? Не значит ли это, что человечество создало себе из революции и ныне из марксистской идеологии искушную чудовищную по пустоте, ничтожеству и скучнейшей бездарности псевдоортодоксию, для защиты которой все средства хороши?

Вот, наконец, мы подошли к такой важнейшей теме, как борьба ортодоксии с гетеродоксией, а также, пожалуй, к самой важной теме о том, что *самое чистое и безупрочное по своей истинности учение превращается в злую ересь и ложь, если только оно начинает себя обосновывать и защищать такими средствами, как Инквизиция и Чека.*

Это особенно становится ясным из такого дела, как процесс и казнь — сожжение несомненного «еретика», каким был Джордано Бруно (1548—1600).

Конечно, были вещи похуже, или, во всяком случае, не лучше, — например, крестовые походы против катаров, Варфоломеевская ночь, сожжение Сервета Кальвином и проч. Но в деле Бруно все сплелось в один очень показательный и символический гордиев узел, не говоря уже о том, что также как в процессе Сократа здесь с особенной выпуклостью выступает провоцирующий и раздражающий толпу характер одаренности вообще.

Поэтому Джордано Бруно следует назвать общим типом гениальной натуры и притом натуры энциклопедической, всесторонне одаренной: помимо научно-философского гения он обладал огромным артистическим темпераментом, что соединялось у него с художественно-писательским и поэтически-ораторским огнем. К этому еще надо прибавить дар юмора, насмешки и иронии. Понятно, почему тот восторг и шум, которые он возбуждал одним фактом своего появления в обществе и на кафедре, и чрезвычайная опасность для его врагов, какую представлял его остро режущий, как бритва, язык, создавали смущение, наряду с восторженными поклонниками, еще большую когорту лютых врагов и недоброжелателей. Приято считать, что он не только не интересовался богословием, но наподобие Фауста начисто его отбрасывал, считая его устарелой и пустой псевдонаукой. Это не совсем так. Уже тот факт, что он чрезвычайно интересовался новоплатонизмом, пифагореизмом, каббалой и вообще оккультными науками, показывает, что его духовный уклад и вся совокупность духовных интересов были богатой и плодотворной почвой для засева если не богословием в прямом школьном смысле, то для такого синтеза мистики и оккультизма, какой мы наблюдаем, например, у Пико делла Мирандола, Агриппы из Неттсгейма, Парасцельса, Себастиана Франка, Якоба Беме и др. Результаты для конечного богословско-метафизического синтеза могли бы получиться очень значительные и творческие... Однако почти с абсолютной достоверностью можно было бы предугадать их гетеродоксийный дух для какой угодно ортодоксальной системы, с весьма опасным для Бруно финальным исходом... Ему был абсолютно невыносим затхлый школьно-монашеский дух доминиканского ордена, куда он

в ранней юности поступил не то добровольно, не то его, что называется, «заперли», как это в начале средневековья случилось с монахом Готесшальком (графом Керном), родоначальником (или одним из родоначальников) теории предопределения. Человека с такой богатейшей и огненно темпераментной натурой, как Дж. Бруно, невозможно даже представить себе не только монахом, но и вообще принадлежащим к какой-либо «вероисповедной партии». Естественно, что как его характером, так и даже его внешностью были предопределены и его положение вечно кочующего беглого монаха, разъездного лектора, и его конец на костре после долговременного пребывания в когтях инквизиции, которой прежде всего был глубоко ненавистен сам его духовный и физический тип. Холодная ненавистническая змея инквизиции и монашества, католического тридентийского и неотомистского богословия могли у такого человека вызвать лишь рвотно репульсивные эмоции, как и всякое благонамеренно послушливое плюнь-кисяльство. Несправедливо было бы обвинять только одну католическую церковь в гибели Джордано Бруно. Он бы погиб в каком угодно окружении людей улицы независимо от национальности и эпохи, а также от специальности и официального положения, которое никогда не могло быть у него хорошим: его всегда и при каком угодно режиме погубила бы какая-нибудь «персона» или «коллектив персон», то есть та или иная форма инквизиции, без которой не обходится никакой наискромнейший коллектив, никакое собрание людей улицы. Ибо, в самом деле, не только там, где коллектив, там и инквизиция, палач и костёр, но скорее всего *всякий коллектив людей улицы и ими руководящих «персон» начинается с инквизиции, костра и палача*, какую бы форму ни представляли эти милые вещи, назначение которых следить за тем, чтобы жизнь ничего не творила, но тела наподобие сырой соломы или сырого навоза потихоньку да полегоньку, да не торопясь, да Богу помолясь с деревянинским маслицем и кисло-сладкой ханжеской рожей и благочестивым помаванием главой. Ведь подобного рода официальное благочестие есть основа социального порядка где угодно — от какого-нибудь церковноприходского совета и семинарии до марксо-коммунистической ячейки... Чрезвычайный, непоправимый вред от социального и социально-психологического подхода к

изучению психопневматических явлений и вообще всяких явлений с убедительнейшей силой и ясностью показал Н. А. Бердяев в своей нашумевшей и по заслугам известной книге «Я и мир объектов». Ее большая заслуга в том, что ее автор раскрыл и изобличил пагубные для философской и научной мысли «социологизмы» и, следовательно, социальные психологизмы — там, где на их наличность до него почти никто не обращал внимания, например, в области церковной и околоцерковной. В свое время это с обычной своей остротой и литературным блеском передал В. В. Розанов в сочинении «Около церковных стен», но это скорее великолепная литературно-художественная и артистическая сокровищница, чем научное исследование. Все же Н. А. Бердяев не коснулся в своей книге таких ужасающих язв, возникших на почве социологических и социографических данных, как *Инквизиция и Чека*.

Вальтер Нигг, потрясенный злоказненностью Инквизиции, требует покаянного искупления социально-церковными организациями этой чудовищной горы преступлений, прежде чем приступить к ее объективному изучению. При этом вне его поля зрения оказалась та истина, что *Инквизиция и Чека суть явления общечеловеческие и общеамартологические...* Так же вне его поля зрения оказалась та жуткая истина, что *не Инквизиция следует за ересью, но ересь за Инквизицией, равно как и не зависть следует за оскудением, но оскудение следует за завистью*.

И наконец, со всем этим органически связана та несомненная истина, что *не ересь есть результат отклонения с прямых путей ортодоксии каких-то злокозненных еретиков, но сама ортодоксия обязана своим существованием храбости и мужеству творческой мысли, шестивющей безбоязненно там, где вообще нет никаких путей, и творящей из ничего там, где как будто бы чему-то быть вовсе и не полагается*. Чтобы была так называемая ортодоксия, во всяком случае должен быть более или менее обильный материал для отбора, где иногда «лучшее оказывается врагом хорошего», да и то *далеко не всегда*. Легко показать, что перед лицом инквизиторствующей ортодоксии (любой, в чем бы она ни состояла), как и перед лицом завидующего и завистливого оскудения, ретроградного хода к энтропическому несбытию и перед лицом сциентической мысли главными еретиками оказываются Господь

*Бог, Творец мира из ничего, и Сын Его единородный и единосущный Ему, воплощенный Логос, Сотворец и Спаситель мира, «Им же вся быша». И к этому надо присоединить именование главной «ерсси» Бога, Творца и Спасителя мира, — что Его святая воля в том, чтобы никому не погибнуть, но «всем спастись и в разум истины прийти». Только этим и можно объяснить ужасающее прекрасный, всепобедный и поистине божественный поцелуй, которым так великолепно и убедительно заканчивается «Легенда о Великом инквизиторе», которая отнюдь не легенда и не мечта, но самая настоящая, Самим Богом — *Великим Еретиком* воздвигнутая Его действительность против разгоряченной человекоубийственной и богоубийственной мечты, злого марева, жуткого миража, которым страдает погруженный в хаос и безумие «Великий инквизитор». Но ведь из хаоса и безумия воззван мир к своему прекрасному бытию. Великий Еретик лобызает Великого Инквизитора — и этим убивает его в качестве инквизитора.*